Георг Брандес

Генрик Ибсен

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Над писателем, который пишет не на общераспространенном языке, обыкновенно тяготеет проклятие. Таланту хотя бы и третье степенному, но имеющему в своем распоряжении язык широко распространенный, гораздо легче быть признанным, чем первоклассному гению, – которого читают в переводе. В этом случае все его художественные особенности, тонкости и красоты утериваются даже и тогда, когда он пишет в прозе.

Затем, если он переведем, оказывается, что он писал для кучки знатоков и любителей, что он вхож лишь в то общество, к которому сам принадлежит, но что он чужд широким массам всего света; оказывается. что его произведения подходят под уровень сознания тех, среди которых он вырос и для которых писал, но не отвечал запросам громадного большинства…»

- Георг Брандес
  - ○
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
  - ○ 8

Георг Брандес
Генрик Ибсен

[1]

Над писателем, который пишет не на общераспространенном языке, обыкновенно тяготеет проклятие. Таланту хотя бы и третье степенному, но имеющему в своем распоряжении язык широко распространенный, гораздо легче быть признанным, чем первоклассному гению, – которого читают в переводе. В этом случае все его художественные особенности, тонкости и красоты утериваются даже и тогда, когда он пишет в прозе.

Затем, если он переведем, оказывается, что он писал для кучки знатоков и любителей, что он вхож лишь в то общество, к которому сам принадлежит, но что он чужд широким массам всего света; оказывается. что его произведения подходят под уровень сознания тех, среди которых он вырос и для которых писал, но не отвечал запросам громадного большинства.

И если Генрику Ибсену удалось обойти эти помехи, то, во-первых, потому, что его позднейшие драматические произведении написаны в прозе, короткими, определенными репликами, легкими для перевода, причем, если произведение и теряло, то в не значительной степени.

А, во-вторых, потому, что, по мере своего развития, он все меньше и меньше писал исключительно для севера, но работал, имея в виду читателей всего мира. Он мало интересовался внешней правдоподобностью. изображая, напр., на сцене замок Росмерехольм, тогда как в Норвегии замков вообще не существует. И, наконец, потому, что в своем искусстве он перешагнул пределы времени.

Наиболее видные немецкие драматурги до него, как напр., Фридрих Геббель, были лишь его предтечами.

Французские драматические писатели, которые в молодости Ибсена владычествовали на сцене – Александр Дюма, Эмиль Ожье, совершенно устарели в сравнении с Ибсеном.

Из произведений Дюма осталось в памяти только одна из его позднейших вещей: «Визит брачной четы», при чем ее рассматривают исключительно со стороны её сценичности.

«Знатная дама ожидает визита своего прежнего любовника, который бросил ее и женился. Он является и представляет ей свою молодую жену. Согласно сделанному уговору с дамой, друг её дома изображает посетителю его бывшую любовницу, как необыкновенно легкомысленное существо, с целым рядом

грешков. Это сообщение действует на молодого супруга так, будто его посыпали перцем; он снова влюбляется в даму, решается бросит ради неё жену и ребенка и образумливается только после того, как узнает, что ему рассказали неправду. Зачем жить ему с этой порядочной женщиной, когда у него имеется своя собственная?» И таким-то образом обнаруживается его нравственное убожество. Вот как понимали интригу в доброе старое время: кто-нибудь что-нибудь выдумывал и на это реагировали.

После драмы «Фру Ингер из Эстрота», с её искусственной интригой, Ибсен не прибегает уже больше в своих произведениях к подобного рода сплетениям. Везде у него пред зрителем фигурирует внутреннее существо человека. Поднимается занавес и мы видим отпечаток своеобразной личности. Во второй раз поднимается занавес, мы узнаем её прошлое и, наконец, в третий раз пред нами раскрываются глубочайшие основы её характера.

У всех его главных действующих лиц гораздо более глубокия перспективы, чем у героев других современных ему поэтов, и это развертывается пред нами без малейшей искусственности. Его техника совершенно новая: никаких монологов, или не идущих к делу реплик, – у Дюма и Ожье встречается и то, и другое, и мы должны напрягать все внимание, чтобы разобраться в них. Герои драм этих писателей всегда люди с простыми, несложными характерами, взять хотя бы наиболее оригинального из них Гибонера – Ожье, которые представляет дальнейшее развитие «Племянника Рамо». Дидро. И возьмем для сравнения Сольнеса! Какая мощность в его фигуре, какая глубокая своеобразность! Он убежден, что его желания имеют деятельную силу (он привлекает этим к себе Кайю Фрели; производит впечатление на Гильду тем, что целовал ее, когда она была ребенком). В том, что Алина относится к нему несправедливо и мучает его неосновательною ревностью, он находит благотворное самобичевание, так как страдает из за неё по своей собственной вине и в то же время он едва выносит её близость. У него от природы все задатки быть гением, но ему кажется, что все окружающие принимают его за сумасшедшего. Он чувствует себя богатым идеями, но боится молодежи и перемены во вкусах. Он в одно и тоже время символ универсальности, старающийся гений и индивидуум с бесчисленными странностями, доходящими до того, что, не имея детей, он имеет для них детскую.

После Ибсена нельзя уже писать так, как писали до него, тем, кто желает стоять на высоте драматического искусства. Он довел требования характеристики и драматической техники до небывалой до него высоты.

Большая часть того, что создано севером в литературе и искусстве, утеряно для европейской культуры. Между тем, как многие светила нашей науки, как напр. Тихо Брахе, Линней, Берцелиус, Абель и скульптор Торвальдсем, получили известность далеко за пределами своей родины, про представителей изящной литературы это можно сказать лишь про очень немногих. Гольберг почти неизвестен, несмотря на его Эразмуса Монтануса; Бельман Генерь и Рюнеберг вовсе неизвестны; Тегнер известен только в Германии и Англии благодаря своему циклу романсов. Андерсен известен в Германии и славянских землях своими детскими сказками; Якобсен приобрел художественное влияние в Германии и Австрии.

И это все.

Несправедливость литературной судьбы представляется почти чем то неизбежным, и Дания с большим правом, чем кто-либо, может жаловаться на эту несправедливость, так как даже такой глубокий и самобытный талант, как Серен Киркегорд остался неоценным и непонятным. Между прочим, благодаря особенному стечению обстоятельств, эта несправедливость послужила на пользу великому драматургу Норвегии. Так как Киркегорд был Европе неизвестен, Генрик Ибсен явился для неё самым оригинальным и самым великим. В этом образе он выступил перед нашей высокой культурной Европой вдруг, так как она не знала ближайшего вдохновителя его таланта.

Но Генрик Ибсен, конечно, сполна заслужил обращенные на него взоры. С ним вместе в первый раз проникает скандинавский север в историю развития европейской литературы. Ведь не в том дело, чтобы стало известным то, а не другое имя, но в том, чтобы тот или иной произвел на массы несомненное влияние. А для этого требуется, чтобы личность обладала твердостью и остротой, сверкающими на подобие бриллиантов. Только таким образом вооруженный человек может начертать свое имя на скрижали веков.

* * *

В последний раз я видел Ибсена больше 3-х лет тому назад, в Христиании. Увидеть его снова было и радостно, и грустно в одно и тоже время. С тех пор, как у него был удар. работа стала для него невозможной, хотя ум его и оставался все еще ясным. Поразительная мягкость сменила прежнюю строгость; он сохранил всю тонкость чувства и стал как будто еще сердечнее, но общее впечатление, которое он производил, было впечатление

слабости. С тех пор он быстро пошел на убыль. И чего он не перестрадал за это время? 25 лет тому назад он заставил своего Освальда в «Привидениях» сказать: «Никогда не быть больше в состоянии работать, никогда – никогда; быть живым мертвецом! Мама, можешь ли ты представить себе что-либо более ужасное»? И вот в продолжение шести лет это было его собственной участью.

Я знал его долго. С апреля 1866 г. мы находились с ним в переписке, увидел же я его в первый раз 35 лет тому назад. Когда мы с ним встретились, на его долю выпал первый литературный успех за его «Бранда». И хотя он не был рассматриваем тогда, как поэт первоклассный, но во всяком случае, как таковой. Единственный тогда читаемый критик в Дания и Норвегии, почитавший своим долгом некоторым образом похвалить Ибсена, восклицал тем не менее: «и это теперь называется поэзией!»

За восемь лет до этого времени Бьернсон уже сделался известным за свой рассказ «Сюнневе». Его сейчас же провозгласили, особенно в Дании, не только единственным великим человеком в Норвегии, но и глашатаем нового правления в литературе. Говорили, и не без справедливости, что его гений идет вперед с уверенностью лунатика.

А Ибсен между тем вел свою литературную жизнь, как бледный месяц в виду блестящего солнца – Бьернсона. Критика, задававшая тогда тон как в Норвегии. так и в Дании, отметила его, как второстепенный талант, экспериментатора, который пробует то то, то другое в противоположность, хотя и более молодому, но ранее его признанному, его товарищу по призванию, который никогда не раздумывает, все схватывает на лету и, наивный как гений. никогда не идет ощупью.

Такому мечтателю, каким был Ибсем, само собою разумеется, пришлось вести жестокую борьбу. чтобы завоевать доверие к своему поэтическому призванию. Его долго самого мучило беспокойство, что, несмотря на свое влечение к великим поэтическим деяниям, у него не хватит сил их выполнить. В его юношеских стихотворениях, в особенности в одном, под названием «В картинной галерее» – он признается, что «испил горькую чашу сомнения».

Его вера в самого себя завоевана и достигнута им углублением в свое собственное я, а его склонность вообще к одиночеству возвысила его до гения.

Холодность и равнодушие окружающих помогли ему стать самоуверенным.

Когда он в одной газете прочел: «Г-н Ибсен большой нуль», а в другой: «у Ибсена нет того, что называется гениальностью. но

он талант в смысле артистическом и техническом», это так подействовало на его самочувствие, что он в своем самосознании причислил и себя к избранникам.

* * *

Скоро у Ибсена явилась возможность очень близко наблюдать человека, в котором никто не сомневался и который, сам ни в чем не сомневаясь, шел от победы к победе, буквально захлебываясь от непосредственной самонадеянности.

Следствием этого было то, что Ибсен в одной саге, рисующей Норвегию в первую половину XIII ст., нашел материал, который, как ему казалось, представляли исторический её фигуры, – для изображения, занимавшего его тогда контраста. Он написал «Претенденты на престол». Гаком – непосредственный гений; Скуле – гениальный мечтатель, фантазия Ибсена извлекает на свет все, что делает Скуле интересным, интереснее Гакона.

Даже после того, как Скуле дал провозгласить себя королем, он сомневается в своем к тому призвании. Он спрашивает скальда, какой дар нужен ему, чтобы быть королем, и когда тот отклоняет вопрос, говоря, что он уже король, Скуле спрашивает его снова, всегда-ли он уверен в том, что он скальд? Иными словами, это сомнение в призвании поэта освещается лишь постановкой вопроса о сомнении в призвании короля, но не наоборот.

В другом виде и гораздо худшем взят Бьернсон моделью в «Союзе молодежи». Многие черты его характера перешли к фразеру и карьеристу Штейнегору, которого опьяняют рукоплескания. Мы находим сатиру на молодого Бьернсона в следующих выражениях: «Будь верен и справедлив. Да, я буду. Разве не неоцененное счастье уметь привлекать к себе массы? Не должно-ли стать хорошим и добрым уже из-за одного чувства благодарности? И как же после того не любить человечество? Мне кажется я мог бы заключить в мои объятия всех людей, и плакать, и просить у них извинения за несправедливость Бога, который наградил меня щедрее, чем их»!

Бьернсон очевидно понял, что это было мечено в него, потому что в своем стихотворении к Иохану Сведрупу[2] пишет:

> Не должна ли жертвенная дубрава поэзии
> Быть свободна от нападения коварного убийцы?
> Если нов тот, кто приходит в брожение,
> Я немедля пред ним ретируюсь!

Три года спустя между ними произошло новое столкновение. В 1872 году, в своем трактате Бьернсом объявил о желательности иного направления в политике северных стран по отношению к Германии. В ответ на это Ибсен написал полное горечи стихотворение «Северные сигналы», которое пылало гневом против несправедливости, оказанной Дании. Последние его строки гласит:

Итак, отступление! К примирительному празднику!
На трибуне стоит проповедник пангерманизма.
Прыгающие львы замахали хвостами,
Бдительные люди меняют направление.
В воздухе пахнет ненастьем. Заговаривай зубы речами!
Флюгер на крыше изменил направление.

Несколько лет спустя это направление. между прочим, было изменено и самим Ибсеном.

С тех пор, в продолжение многих лет, оба поэта Норвегия жили в вооруженном мире.

Не подлежит сомнению, что оппозиция, в которой находился Ибсен по отношению к Бьернсону, послужила к развитию до предела возможного всех его особенностей.

Сангвинический, добродушный, любезный, говорливый Бьернсон помог развиться ибсеновской «светобоязни» (он сам говорит, что он ею страдает), т.-е. это значит, что Ибсен еще больше отвернулся от повседневной суеты, замкнутый и скупой на слова.

То, что Бьернсон был всегда общественным деятелем, чувствовал себя патриотом и человеком партии, содействовало тому, что Ибсен стал важным и одиноким. Из патриота он превратился во всемирного гражданина и из партионного человека стал индивидуалистом.

Напечатанные письма Ибсена не дают истинного представления о его личности. В них он большею частью занят отстаиванием своих интересов. В них едва мерцает ум, которые писал однажды: «я не хочу двигать пешками. Но вы на меня можете смело положиться, если перевернете всю шахматную игру».

Между тем Ибсен все глубже и глубже уходил в свою духовную жизнь, и в создаваемые им образы, и занимался решением моральных проблем, стоящих выше всего повседневного и переходящего, вносящих уверенность в сомнения

и расширяющих пределы драматического действия. Что пограничные столбы были им снесены, видно по тем глупым крикам, которые поднялись из за «Привидений».

Как пример того, какими проблемами задавался Ибсен, возьмем, как относится он к вопросу, касающемуся кровосмешения: любовь между братом и сестрой – Освальд и Регина, Альмерс и Рита; противузаконные отношения между отцом и дочерью – Ребекка и д-р Вест.

В первом случае он сомневается в наличности греха, а во втором – он ищет сильного противовеса в позднейшей чистоте.

Основным его вопросом, как поэта моралиста, является вопрос об ответственности. Насколько личность обладает свободною волей, и насколько она вынуждена поступать так, как поступает. вопрос об ответственности в большей или меньшей степени выдвигается им у Юлиана, Гельмера и Норы, Ванделя и «Женщины с моря», Альмерса и Риты (большая книга Альмерса трактует об ответственности), Сольнеса и Гильды, Рубекка и Ирены, у его преступных типов, как Берник, и Ребекка, у злополучных, как капитан Альвин или Боркман и у усовершенствователей мира, как Грегерс Верле или Д-р Штокман.

Бьернсон прямо моралист и отнюдь не делает из своего сердца «разбойничьей пещеры». Ибсен все время борется, чтобы примирить свое призвание судьи с верою в предопределение и необходимость. Бьернсон проповедует против королевства, или экзальтированности (вера в чудеса, анархизм), о терпимости, или о половой чистоте – Ибсен вообще не проповедует: он сам спрашивает и тем наводит нас на размышления.

В другом месте, я пробовал выяснить, как вырабатывал Ибсен свой сжатый, сильный стиль в своих первых поэтических опытах, напр. «На высотах», как подражатель Эленшлегера, а затем в дальнейших юношеских произведениях, которые являются отголоском романтики, как напр. «Олаф Лилиекранц». Поучительно также проследить, как обрабатывал и оформливал он отдельные элементы, взятые из действительной жизни, которые его фантазий пускала в оборот. Киркегорд и его ученик норвежец Ламмерс послужили ему моделями для «Бранда». Оба они из за благочестивого рвения покинули церковь. Киркегорд – великий и строгий, как и Бранд, как и он, рано умер.

Однако, Ибсен, придавая известную форму заимствованному, делал это, согласуясь со своей собственной личностью. Требование цельности существа, которое предъявлял Бранд, есть требование, предъявлявшееся Ибсеном к самому себе. Суровость, твердость, строгость суть черты, принадлежавшие его собственному я, не исключая и пламенной воли.

Но в глубине души у него кроется сомнение в своем произведении, в силу которого он не смеет отдать герою справедливость, но, не желая всего разрушить, не может быть к нему и же справедливым.

Именно в Бранде проявляется эта двойственность, где чисто человеческое требование – будь цельным, встречается с христианским по преимуществу – отрекись. Первое есть продукт сознательной духовной жизни Ибсена, второе относится к унаследованному им чувству христианина.

Он думает, как язычник; признает за благо полноту жизни, придает цену жизни, и вместе с тем, как Гольдшмидт, испытывает благоговение пред отречением и чувствует малодушно. Аскетическое отречение от жизни уживается у него параллельно с пантеистическим взглядом на нее и это проходить чрез работу всей его жизни.

Общее впечатление, получаемое вообще иностранцами – чисто теоретическое – таково, что Ибсен является возвестителем освобождения от общественных правил и обычаев, вестником радостей жизни. В «Привидениях» он прямо возмутитель; в «Сольнесе» – враг церкви; в «Эпилоге» он изливает свою печаль о проигранной жизни, так как в ней не было места радостям любви, но лишь искусству и славе.

И тем не менее везде, где у него изображена чувственная жизнь, она изображается в освещении непривлекательном. В «Императоре и галилеянине» она почти омерзительна.

Первое время любовного сожития Альмерса и Риты вызывает отвращение. Если женщина горда, она отклоняет мужские объятия, как это делает Гедда в отношении Левборга. Если, наоборот, мужчина благороден и занять умственной работой, он не способен к половой жизни, и женщина напрасно по нем томится, как напр. Ребекка по Росмерсе, Рита по Альмерсе и Ирена по Рубекке в продолжение многих лет. Пуританизм не вытекает здесь из существа личности, но является отчасти признаком атавизма, отчасти условностей. Там, где женщина, чтобы нравиться, прибегает к таким вульгарным приемам, как распускание волос, красный свет от лампы, шампанское на столе («Маленкий Эйольф»), там сенсуализм изображен в омерзительном виде, на столько же почти, как отношение Пеера Гюнта к зеленой ведьме или Анитре.

Там, где – в позднейших драмах – фигурируют лица с жаждой жизни, они везде простаки, как г-жа Вильтон в Боркмане и охотник на медведей Ульфхейм в «Эпилоге». Вот тот штемпель убожества, который истинно протестантская Норвегия наложила на чело своего поэта.

Моделью для Пеера Гюнта служили многие, между прочим, один молодой датчанин, которого Ибсен часто встречал в Италии, аффектированный фантазер и чрезвычайно хвастливый. Он рассказывал молодым итальянскимь девушкам на Капри, что его отец (инспектор школы) был близким другом короля Дании и сам он очень знатный господин, почему он иногда носил костюм из белого атласа. Он воображал себя поэтом, но чтобы получить поэтическое вдохновение, должен был, как ему казалось, посещать неизвестные, дикие страны. Поэтому он ездил на критские горы, чтобы писать там трагедию, но вернулся с недоделанной работой; в горах он мог только чувствовать себя трагически и жить в постоянном самообмане. Он умер вблизи Ибсена в Риме. Многие черты его характера перешли в Пеера Гюнта. Но во всем остальном Пеер типичный представитель чисто норвежской слабости воли и фантазерства. Здесь, как и везде, Ибсен является противуположностью Бьернсона, который восхваляет молодых норвежских крестьян. Любовь к ссорам и дракам у Торбьерна Бьрисона есть признак северной силы, полученный в наследство еще со времен саги. У его Арне страсть к поэзии рисуется симпатичным образом. Ибсен в любви к буйству видит только грубость, а во влечении к сочинительству – любовь к лганью и чванству.

Правдивая история Арне, уверял однажды Ибсен, такова: он заявил пастору, что хочет жениться на Эли. «Но она, ведь, 70-тилетняя вдова», – сказал пастор с испугом. «Но зато у неё есть корова». – «Все равно, обдумай это хорошенько. Я должен сделать пред свадьбой оглашение – это стоит два далера. Обдумай же это хорошенько». Спустя неделю Арне приходит снова. «Я обдумал. Из этой свадьбы ничего не выйдет». – «Конечно, я был уверен, что лучшее твое я победит». – «Корова издохла, – говорить Арне, – отдайте мне мои два далера обратно». – «Два далера пошли в церковную кассу». – «В церковную кассу?! Ну, тогда давайте мне хоть вдову».

Ложь Пеера Гюнта не есть один обман, но также и самообман. По существу он очень интересный субъект, для которого обстоятельства складываются очень несчастливо. По временам он является сатирой на национальные норвежские особенности и народные пороки и состоит в дальнем родстве с Дон-Кихотомь Сервантеса и в близком с Тартареном Додэ.

* * *

Зародыш «Кукольного домика», т.-е. собственно личности

Норы, находится уже в «Союзе молодежи». Селька жалуется, что ее держали в стороне от всех домашних забот, обращались с ней, как с куклой. В 1869 году в моем критическом очерке этой вещи, я заметил, что Сельме уделено в этой пьесе слишком мало места, что об её отношениях к семье можно написать целую драму. Десять лет спустя эта драма была Ибсенок написана. Он в то время состоял в переписке с одной молодой женщиной, имя которой слегка походило на Нору. Она очень часто в своих письмах рассказывала о заботах, которые ее мучают, не разъясняя, что это за заботы. По своему обыкновению Ибсен задумался о чужом ему деле и рассказал с равнодушием поэта: «Я очень доволен одной находкой, я думаю, что я что то открыл, вероятно ее мучают денежные дела». В действительности оно так и было. Из биографии Ибсена, написанной Гельверсеном и сохраняющейся в газетных корреспонденциях, эта дама, впоследствии Нора, достала себе деньги посредством ложной подписи, хотя с менее идеальной целью – не для того, чтобы спасти мужу жизнь, но чтобы обзавестись обстановкой для своего дома. Муж, узнав это, был, конечно, страшно рассержен. Этой повседневной, печальной истории было достаточно для Ибсена, чтобы силою своего воображения создать драматическое действие и сотворить произведение, достойное великого художника – «Кукольный домик». Он вылил его в форму, соответствующую новым идеям о самостоятельности женщины, о её индивидуальном праве в особенности и о праве жены жить своею собственною личною жизнью – идеям, которые вначале прямо отталкивали Ибсена.

* * *

Каким образом из мечтаний Ибсена, проверенных затем на данных личных наблюдений, зародились его поэтические образы, я покажу на другом примере.

Один молодой ученый, которого я назову Хольмом, был поклонником Ибсена и считал великим счастьем быть с ним лично знакомым. Ибсен и сам очень любил молодого датчанина. Однажды в Мюнхене он получил от него пакет. Когда он его вскрыл, оттуда выпала связка старых писем, написанных самим Ибсеном к Хольму и кроме того его фотография. При этом не было написано ни одного объяснительного слова. Ибсен начат раздумывать. Что бы это значило, что он мне все это возвращает? Он верно сошел с ума. Но если даже он и сошел с ума, почему же посылает он мне обратно письма и фотографию? Ведь, так

поступают только обрученные, в случае разрыва своих отношений. Он меня очень любит. Вероятно он смешал меня с кем-то другим, которого он также любит… и верно с женщиной. Но с какой же женщиной? Раз он болтал мне кое-что про г-жу Хольцендорф. Он верно начал за ней слишком ухаживать, а у неё должно быть есть отец, или брат, которые и потребовали от Хольма назад её фотографию и письма. Но почему и как сошел он с ума? Прошло некоторое время. Раз утром входит к Ибсену приехавший с севера молодой Хольм. Он такой же, как и всегда. После обычных предисловий Ибсен спросил: «Зачем вернули вы мне назад мои письма»? – «Я этого никогда не делал». – «Не переписывались-ли вы с m-elle Хольцендорф»? Молодой человек с некоторым замешательством ответил: «Да». – «Не потребовали-ли у вас обратно письма, которые вы от неё получали?» – «Но почему же вы это знаете?» – «А потому, что вы нас смешали, так как любите нас обоих». Обо всем остальном молодой человек говорил вполне разумно.

Однако, это происшествие не давало Ибсену покою. Он непременно хотел узнать, что случилось с юношей. Он пошел в отель Лейенфельдер в Мюнхене и попросил швейцара рассказать ему об образе жизни д-ра Хольма. Швейцар ответил: принципиально мы не даем никаких сведений о наших посетителях. Но вы, д-р Ибсен, как старый мюнхенец, имеете право спрашивать. Когда д-р Хольм просыпается, он требует бутылку портвейна; к завтраку бутылку рейнского, к обеду бутылку красного, а вечером опять одну или две бутылки портвейну.

И вот в воображении Ибсена вырастает Эйлерть Левборг. Молодого человека очень одаренного, выдающегося ученого без малейшего педантизма, он претворяет в Эйлерта Левборга с виноградной лозой в волосах. (Когда Хольм узнал себя в этом образе, ему это так понравилось, что он подписывался под своими работами Левборг). Ибсен узнал, что однажды вечером он потерях написанный им манускрипт. Этот случай переходит в Гедду Габлер.

Некоторое время спустя Ибсен снова получил пакет от Хольма с завещанием ему своего наследства. При этом ставилось много условий и говорилось об обязанностях, которые должен выполнять Ибсен. Все девушки, с которыми он когда-либо находился в любовных отношениях, были также его наследницами: Альме Ротбарт в Бремене он завещал столько-то, M-elle Елизе Краузхар в Берлине столько-то и т. д. И все значительные суммы. Когда Ибсен, как человек практичный, подвел итог, оказалось, что сумма завещанного превышала его

капитал. Тогда он любезно отказался от наследства, но взял Альму Ротбарт, как красную Диану в Гедде Габлер, а образ Эйлерта Левборга в его воображении получил определенные контуры.

В это же время вероятно Ибсен узнал, что жена одного норвежского композитора сожгла однажды вечером только что оконченную её мужем симфонию в припадке ярости, вызванной ревностью из-за того, что муж поздно ночью вернулся домой. Гедда также сжигает манускрипт, потерянный Левборгом, из ревности, но другого сорта.

Наконец, в то время в Норвегии ходили слухи про одну красивую, даровитую женщину, выдающийся также муж которой долгое время пьянствовал; после того, как он излечился от своего порока, она, из желания испробовать над ним свою власть, вместо именинного подарка, вкатила к нему бочонок с коньяком и сама ушла. Когда спустя некоторое время она открыла к нему дверь, он лежал бесчувственно пьяный на полу. Может быть, это послужило для Ибсена намеком для той сцены, где Гедда склоняет прежде пившего Левборга начать снова пить, чтобы таким образом иметь над ним власть и сломить Тею.

Таким то вот путем из незначительных, рассеянных в действительной жизни черт, собирал Ибсен строгое, связное, глубоко продуманное целое.

Я говорил уже раньше, как полный ненависти прием «Привидений» раздражил тогда 53 летнего Ибсена. Не давая ничуть своего портрета в д-р Штокмане, он тем не менее символизировал во «Враге народа» преследований против себя. В «Дикой утке» устами Грегерса Верле, он спрашивает себя, действительно-ли было нужно объявить истину среднему человеку, каким была читающая его публика и не была-ли ложь необходимой для его существования. И только наконец в Росмерехольме он хоронит в себе воспоминания о нападках на «Привидетя», Росмерс начинает там, где кончаеть Штокман; он хочет создать свободных благородных людей.

На Росмерса смотрели сперва, как на консерватора, каким в Норвегии считали и самого Ибсена за его «Союз молодежи». Но после того, как поняли проводимое Росмерсом духовное освобождение, против него вооружились обе партии, и преследовали его также, как и Ибсена, после того, как он в своих «Привидениях» заявил себя радикалом, что было неудобно норвежским либералам.

Летом перед тем, как был написан «Росмерсхольм», Ибсен встретил скандинавского аристократа, который обладал такою же красивой и важной наружностью, какую можно себе представить у

Росмерса.

Этот господин был несчастен в браке с одной дамой, которая в действительности была очень хорошею и преданною ему женой, но которая не подходила ему интеллектуально: его интересы были ей чужды.

Он искал утешений у родственницы своей жены. Дело обнаружилось. Мелкие газетки стали приносить ядовитые заметки об угадываемых отношениях. Тогда он покинул свой дом, чтобы совершить будто бы небольшое путешествие, но не возвратился домой, уехал заграницу, возвратил своей жене обратно её имущество и ушел со своего высокого поста в отставку.

Спустя короткое время его жена умерла от чахотки, которая быстро развилась на почве горя об утерянном семейном счастье. Ему и второй его жене враги приписали ответственность за эту смерть.

Видно, как благодаря этому происшествию с одной стороны вырос образ Ребекки, бывшей косвенною убийцей, а с другой распадение в «Росмерехольме».

Если «Враг народа» есть самооборона, то «Сольнесь» походит на исповедь. В этой вещи, простой и глубокомысленной в одно и тоже время, находили замечательные символы. Славянский студенческий союз писал в свое время ко мне, прося меня разрешить их спор – означает-ли Гильда католицизм, или протестантизм.

В поздейшем, написанном с теплотой и воодушевлением, немецком произведении Эриха Хольма об Ибсене, носящем название «Политическое завещание Ибсена», Сольнес представляет собою гражданство, Рагнар – социализм, Гильда – свободу, Бранд с его отношением к родительскому дому – французскую революцию. Как известно, в истории Наполеона видят миф солнца. Он родился на одном острове и умер на другом – это значит, что он вышел из моря и ушел в море. Его мать звали Летиция – что означает радость. Он имел 12 маршалов – 12 небесных знаков и т. д. Все совпадает. Что касается Ибсена, то он писал всегда субъективно-психологически и никогда абстрактно-аллегорически. Если Бранд, с его родительским домом, и есть какой-либо символ, то наверно это символ каких-нибудь событий в личной жизни Ибсена; напр. его бегство из родной страны, но не мировое событие. А Гильда также мало символ свободы, как и протестантизма. Она норвежская девушка, типично норвежская и не даром носит имя Валькирии. Она, как однажды сказал сам Ибсен, выполнена con amore и, конечно, имела много образцов в действительной жизни и не норвежской

только.

В письмах[3] Ибсена за 1889 г. к одной молодой австрийской девушке, с которой он познакомился в Тироле (эти письма, долго спустя, я получил от этой девушки), заключаются некоторые штрихи отношений Сольнеса к Гильде. Она, эта австрийская девушка – майское солнце в его сентябрьской жизни; она принцесса, как и Гильда, и действует на него, как принцесса. Он всегда, всегда о ней думает. И в особенности его занимает мысль, посчастливится ли ему изобразить в поэзии такую высоту и болезненное счастье борьбы за недостижимое.

Позднее, когда в 1891 г., после 27-летнего отсутствия, Ибсен вернулся в Норвегию, там нашлось, может быть, юное женское существо, удивление которого перед ним приняло страстный характер и к которому влекло и самого Ибсена.

Когда, несколько лет спустя, он читал мой очерк про молодую Марианну Виллемерс и её любовь к 60-та-летнему Гете, и об успехе который после этого имело его стихотворение «Западно-восточный диван», он очень им заинтересовался и высказался, таким образом, в письме ко мне из Христиании 11-го февраля 1898 г.: «Я не могу удержаться, чтобы не выразить Вам мою особенную благодарность за Ваш очерк: „Гете и Марианна Виллемерс“. Эпизод из его жизни, который Вы описываете, мне не был знаком. Может быть, много, много лет тому назад я и читал это у Левеса, но я совершенно это забыл, так как тогда такие обстоятельства не имели для меня ровно никакого интереса. Теперь же дело обстоит совершенно иначе. Когда я думаю о характере произведения Гете во время возврата его молодости, я, мне кажется, могу сказать, что в этой встрече именно с Марианной Виллемерс, Гете был восхитительно награжден. И так судьба, рок, случай могут быть также благоприятными человеку, посылая ему иногда награду».

По своему обыкновению Ибсен собирал рассеянные, мелкие черточки повсюду. В доказательство этого, вот что он сам рассказывает. Однажды в южной Германии, одна молодая девушка сказала ему: Я никогда не могла постичь, как можно влюбиться в неженатого мужчину. Тогда лишаешься удовольствия отобрать его у другой. Эта фраза открыла Ибсену перспективы на женскую духовную жизнь.

Итак, его Гильда, его наиоригинальнейший, яркий, как солнце, женский образ создавался из самых разнообразных элементов. С воспоминаниями о ней у меня связан небольшой анекдот. Ибсена всегда принимали за сурового человека и таким он и был в действительности. Но что он мог быть временами мягким и даже приветливым, показывает следующий случай.

Ибсен знал одну маленькую девочку[4] с шестилетнего её возраста и очень интересовался ребенком. Когда вышел «Сольнес», ей было всего 12 лет. Я как раз приехал тогда в Христианию. – Ну что говорить Эдит о моем произведении? Что она говорить? – Она говорит то, что можно сказать в её возрасте, что в этой пьесе только и есть одна порядочная женщина, г-жа Сольнес. Она находить Гильду отвратительной за то, что она увлекается женатым человеком.

Несколько лет спустя приехала эта девочка подросток в Норвегию и посетила Ибсена. Хорошо запомнивши наш разговор, он сказал: «Но ведь это ко мне пришла моя Гильда, как раз такая, какою я себе ее представлял». – «Я совсем не похожа на Гильду». – «Ну, конечно, похожа». Затем он подарил ей свой портрет и написать на обороте следующую игривую надпись: «На кого походит Эдит? На кого похожу я? Я этого не знаю. Поезжай на дачу, поживи там месяц и возвратись назад, а я за это время подумаю, на кого ты похожа».

Девочка привезла ему фотографию обратно. – «Да, правда, я должен кое-что добавить; – и он написал: Эдит не похожа ни на кого на свете, Эдит походит только на самое себя. Поэтому Эдит так… А что такое я? – я этого еще не знаю. Поезжай в Копенгаген и возвращайся через год, а я за это время еще подумаю и напишу заключение.

В этих мелочах видны любовь Ибсена подстрекать любопытство, его страсть пробуждать сомнения, ставить вопросы, задавать загадки, обрывать на самом интересном месте, и, наконец, его особенность, как драматурга, возможно отодвигать решение загадки в будущее.

Толкований произведений Ибсена можно найти очень много. Я хочу попробовать обрисовать его таким, каким он был в повседневной жизни. В молодые годы внимательный, живой, бодрый, сердечный, но в то же время резкий и никогда не добродушный, даже в минуты наибольшей сердечности. С глазу на глаз разговорчивый, охотно слушающий, сообщительный, открытый. С наибольшей охотой он жил отшельником. В большом обществе он был скуп на слова, легко смущался и терялся. Он никогда не забывал недоброжелательного приема своим первым произведениям в Норвегии, а также и своего долга благодарности относительно заграницы.

Было не много нужно, чтобы принести его в дурное настроение, или возбудить его подозрительность. Если он заподозревал кого-либо в назойливости, его боязнь людей мгновенно пробуждалась.

В 1891 г. я вместе с некоторыми норвежскими художниками

был в Сандвикене, недалеко от Христиании; и мы себя превосходно чувствовали. Раз как-то я сказал: как должно быть грустно Ибсену сидеть день за днем одному в отеле, в городе. А что, если бы мы его когда-нибудь пригласили сюда? – А кто же осмелится это сделать? – Я охотно на это отважусь, я вижу его ежедневно и завтра буду с ним завтракать».

«Мы, несколько художников и писателей – очень бы хотели с вами пообедать». – А сколько вас и кто именно? – Я назвал имена, нас было девять. – «Обедать в таком большом обществе нарушает привычки моей жизни, я этого никогда не делаю». – Я напомнил ему, что недавно в Будапеште он участвовал в празднестве в честь его, на котором присутствовало несколько сот человек; этим я рассеял несколько его недоверие и получил разрешение устроить небольшой праздник. Чтобы сделать ему приятное, мы взяли зал в том самом отеле, где он жил, и предложили ему самому выбрать меню.

Когда распространилась молва, что я устраиваю для Ибсена обед, после такого долгого его пребывания заграницей, меня со всех сторон начали осаждать просьбами дать хоть одно место за обедом, и отказать семьям, которые со мной были очень гостеприимны, мне было, конечно, трудно. Чтобы подготовить почву, я начал с того, что признался Ибсену, что одна единственная дама очень желала попасть на обед. – «Ни в каком случае», – ответил он мне. – Это молодая, веселая, толстая женщина! – «Я не люблю молодых, веселых. толстых женщин». – Вы когда-то были влюблены в её тетку, – я назвал имя. Тогда он сразу заинтересовался. – «Ну, это другое дело, тогда она может прийти».

Но разрешение было получено всего на 10 человек, а мы мало-помалу дошли до 22. Я боялся взрыва.

В известный день и в назначенный час я стучат в дверь в его отеле. Он посмотрел на меня и сказал с удивлением и немного огорченный: вы во фраке? – Да, а вы в жилетке? – Ну, да, когда я начал одеваться, в моем сундуке не оказалось фрака. – Как это ужасно! – мы радовались как дети, что увидим Ибсена во фраке, а теперь должны довольствоваться Ибсеном в сюртуке. – А дамы с вами есть? – Да она, да еще одна, другая! – Сколько же их там всех? – 22. – Это измена, вы сказали 9, я не иду.

После долгих переговоров мне удалось свести его с лестницы. Когда он вошел в зал, там царствовала тишина ожидания, которую его суровая мина отнюдь не помогла нарушить. Начало обеда было очень тягостное. Пришлось подать шампанское и начать держать речи уже за рыбой, чтобы хоть этим несколько поднять настроение. Я сказал: «Дорогой Ибсен! Вы с годами

сделались настолько нечеловечески знаменитым, что хвалить вас становится неизмеримо трудным. Но не правда ли, что мы, жители севера, понимаем вас лучше, чем иностранцы; мы оценили вас на первых же порах, тогда как они пришли лишь в одиннадцатый час. Правда, в Библии говорится, что пришедшие в одиннадцатый час, имеют равную заслугу с тем, которые пришли в первый. Но это место я понимал всегда так, что пришедшие в первый час все же чуточку лучше». Ибсен перерывает меня. – «Ни в каком случае». Я прошу его подождать делать замечания, пока я кончу. Я хвалил его и в шутку и серьезно, говорил о солнце и звездах, применил к нему слова: может быть Сириус и больше солнца, и тем не менее благодаря солнцу вызревают наши хлеба. Ничего не помогало. Он продолжал быть растерянным и только повторял: против этой речи можно многое возразить, чего я предпочитаю, однако, не делать.

– Сделайте это, Ибсен, это гораздо приятнее! А он: чего я предпочитаю однако не делать.

Один редактор, который привел к столу очаровательную артистку – Констанцию Бруни, поднялся и сказал: моя дама за столом просит меня, г. д-р Ибсен, принести вам благодарность от артисток Христиания-театра[5] и сказать вам, что нет ролей, которые они играли бы охотнее ваших и на которых они учились бы больше.

Ибсен: «я к этому сделаю одно замечание: я вообще не писал ролей, но изображал людей и никогда в жизни я не имел в виду, когда работал, ни одного артиста и ни одну артистку. Но позже мне, может быть, будет очень приятно познакомиться с такой милой дамой».

Констанция Бруни имела смелость ответить, что она ни минуты не имела в виду себя, так как он видит ее в первый раз, и что в речь проскользнуло неудачное слово роль, под которым она, как и он, разумела человека.

Ибсен ничуть не сознавал, что его прямота действовала подавляюще на настроение присутствующих, так как при расставании он сердечно меня благодарил за обед и наивно прибавил: «это было очень удачное празднество».

Я привел пример его суровости, но сколько у меня воспоминаний о его сердечности, внимании и тонкости чувств.

Я помню Ибсена много, много лет тому назад, в Дрездене, во время длинных прогулок по городу и его окрестностям, когда он разъяснил мне тип немца, которого он. после многолетнего пребывания в Германии, полагал, что знает. Или когда он критиковал драмы Шиллера, риторики которого он не любил, или поэзию Рунеберга, которой он мало интересовался, так как

она написана гекзаметром. Он всегда был на своем посту, когда дело касалось всего академического, или пережитков прошлого, или всего не жизненного. Поэзия для поэзии была ему противна, В семидесятых годах он посещал в Дрездене собрания литературного общества, где внимательно выслушивал доклады, они-таки были интересны и поучительны. Он держал себя по отношению к скромным, мало известным литераторам по-дружески, признавая их знания и солидную литературную культуру.

В Мюнхене я видел его у него дома. Он тогда был уже признан единичными лицами в Германии, хотя не был еще знаменит. Он принимал у себя избранных норвежцев, проезжавших через город, между ними нередко известных норвежских политиков. Привыкнув видеть много людей, он стал светским человек и с разными людьми разно обращался, но всегда справедливо.

Я помню его также гостем в Копенгагене, чтимым, как король. Если он делал кому-нибудь визит, все были от него в восторге. Когда он был куда-нибудь приглашен – его молчаливость и замкнутость приводили в изумление.

Он не говорил больше о Норвегии *с* горечью, во с сожалением о её медленном развитии. Теории, приходящая из Норвегии, казались ему устаревшими и вышедшими из употребления в Европе. О просвещенных норвежских крестьянах он однажды сказал: «книга Маллинга „Великия и хорошие деяния“, которая 50 лет тому назад представляла полезное чтение для детей, как раз подошла бы теперь к ним».

И, наконец, помню я его в мои многочисленные длинные или короткие пребывания в Норвегии, когда мы согласно уговору встречались с ним каждый день после завтрака. Он всегда заблаговременно стоял одетым у ворот и ожидал: мы шли гулять в картинные галереи и т. д. Или, когда я по его приглашению приходил к нему обедать и он, потирая руки от удовольствия, говорил: будем сегодня веселы, будем пить хорошее вино, много вина и рассказывать истории. И, погодя: «Ну, теперь вы услышите поучительную историю об Х.». На лице появлялась на минуту сатирическая улыбка, и затем следовала кровавая история, или шарж, где общеуважаемый и восхваляемый, благородный человек обнаруживал себя комичным грешником, каким он был на самом деле.

Или в тихий вечер, проведенный с ним на открытом воздухе, в каком-нибудь павильоне. На столе стоит свеча, которую приходится убрать, так как летняя ночь достаточно светла. Лицо Ибсена с могучим лбом и с богатой гривой седеющих волос

сливается с очертаниями, дремлющей в магическом освещении, природы. Становится несколько темнее и из его лица виден лишь блеск его очков и движения рта. Он говорит глухим голосом, отпивает от времени до времени из своего стакана, фантазирует, шутит.

Раз мы едим с ним ягненка, я делаю замечание, что это благородное животное. Разумеется, отвечает Ибсен. Я было думал написать драму про ягненка. Человек смертельно болен; он может выздороветь только в том случае, если ему обновят кровь. Ему вспрыскивают свежую кровь ягненка и он выздоравливает. Позже он всегда мечтал о том, чтобы увидеть этого ягненка, так как он обязан ему жизнью. Наконец, он открывает его в одной женщине, он влюбляется в нее. И разве он может иначе? Конечно, нет. Только не часто встречаешь женщину, похожую на ягненка. Но это будет, будет! – И его речь растаяла в улыбку, гармонировавшую как нельзя больше с бледным ночным небом и с дальним бледным фиордом, гладким как зеркало.

Если не считать юношеских драм Ибсена, сюжеты которых взяты им из саги или история, или его юношеских полемических работ, написанных или в стихах, как напр., «Комедия Любви», «Бранд», «Пеер Гюнт». «Союз молодости», то, главным образом, всемирную его известность составили ему 12 позднейших драм, написанных им в зрелом возрасте.

Из этих 12 драм – 6 полемического характера, направлены против общества: «Столбы общества», «Кукольный домик», «Привидения», «Враг народа», «Дикая утка» и «Росмерехольм».

Остальные 6 суть чисто психологические исследования, занимающиеся исключительно отношениями между мужчиной и женщиной, при чем в них женщине отведено всегда первенствующее место, даже и в том случае, когда она не главное действующее лицо в пьесе. Эти драмы след.: «Женщина с моря», «Гедда Габлер», «Сольнес», «Эйольф», «Боркман» и «Когда мы мертвые пробуждаемся». В них или семейные, или личные трагедии и совершенно упускаются в виду общественные и государственные отношения. Однако, и в этих драмах Ибсен показал себя не менее выдающимся, как культур-трегером, так и поэтом.

Чтобы выяснить все его значение, небезполезно сопоставить его с другими современными ему культур-трегерами. Путь в этом направлении нам указал французский переводчик и толкователь Ибсена, граф Прозор.

В год рождения Ибсена родилось еще два великих писателя: Тэн во Франции и Толстой в России. Несмотря на их несходство между собою и их несходство с Ибсеном, все же они все имеют

родственные черты.

Тэн вначале, как и Ибсен, быль мятежным умом и произвел в первые 40 лет своей жизни революцию во французской умственной жизни. Но с течением времени он все больше и больше делался тем, чем Ибсен быль в своем зрелом возрасте – ненавистником революции, которая выравнивает, производит нивеллировку, чтобы унизить и убить все выдающееся.

Объектом презрения как для Ибсена, так и для Тэна, служит представляющее собою демократию большинство, которое по определению Ибсена всегда не право.

Там политически более консервативен, чем Ибсен; идеалом для него служило политическое положение в Англии; сохранение накопленных в прошлом ценностей и широкое развитие местных самоуправлений.

То, что Ибсену представлялось вполне ясным, это – что доктрина сама по себе значит очень мало, какое бы название она ни носила: конституционализм, демократия, или какое иное. Действительные перемены наступают лишь тогда, когда сами люди становятся иными. Вот понятие, на котором, по его мнению, основывается здоровью радикализм. Социалист может быть себялюбивее, чем индивидуалист, а консерватор большим разрушителем общественного строя, чем радикал. Суть дела не в этикете на бутылке, а в том вине, которое в ней. То же или иное учение, к которому себя причисляют, не есть вино, но лишь этикет. Однако, на Ибсена не надо смотреть как на мыслителя, в особенности политического. Тэн был мыслителем – Ибсен борцом.

Толстой, несмотря на всю свою величину, мыслит узко; он не признает Тэна и презирает Ибсена, как поэта, лишенного смысла. Он также, как и Ибсен, революционер, разрушитель общественных предразсудков и проповедник нового общественного строя вне государства. Они встречаются в анархическом, враждебном государству взгляде, но в то время, как у Ибсена направление ума имеет аристократические тенденции, Толстой верит в равенство. Толстой проповедует евангельскую любовь, Ибсен самонаслаждение одиночества.

Есть также у Ибсена несколько общих основных черт с Ренаном, который старше его несколькими годами, и которого он почти не читал; также мало, как и Тэна.

Фраза Ибсена: «я только спрашиваю, не мое призвание отвечать» – известным образом относится и к тонкому мыслителю Ренану и его сомневающемуся уму. И тот и другой, как редко кто, будят жизненные силы: Ренан очаровывая, Ибсен устрашая.

Прозор обратил внимание на то сходство, которое замечается

в мыслях ибсеновского Бранда и в юношеском произведении Ренана «Будущее науки». Ренан требовал единства и цельности человеческого существа, говоря, что цель, которую должен себе ставить человек не в тон, чтобы знать, чувствовать, фантазировать, но в том, чтобы быть человеком в полном смысле этого слова; те же мысли встречаем мы у Бранда.

Бранд говорит, что церковь, над которой расстилается небесный свод, не имеет ни стены, ни границ; тоже, в иных несколько выражениях, говорит и Ренан: старую церковь должна заменить новая и величайшая. Одна религиозная догма должна уступить место другой, один род божества – другому, так как истинное происхождение мира неизмеримо выше всего того, что нам говорить о нем наше жалкое воображение, без которого мы не можем представить себе хода вселенной – мысли, встречаемые нами у Ибсена в «Императоре и галилеянине» и в «Бранде». Ренан, как и Ибсен, знает третье царство, в котором сливаются во едино язычество и христианство.

Кроме Тэна и Толстого – ровесников Ибсена и Ренана, который несколько его старше, есть еще один великий, но значительно более молодой, которого можно сравнить с Ибсеном, хотя этот последний никогда не читал его книг, а он одну из слабейших ибсеновских вещей, «Столпы общества».

Это Ницше.

У Ницше, как и у Ибсена, мятежный ум и, как Ибсен, он держал себя в стороне от политической и практической жизни.

Первое между ними сходство то, что оба они придавали значение своему происхождению не от мелких людей.

Ибсен в одном из своих писем ко мне старался доказать, что его родители, как с отцовской, так и с материнской стороны, принадлежали к знатнейшим семьям в Скиене и состояли в родстве как с местной, так и окрестной аристократией. Но Скиен не мировой город и его аристократию не знают уже за его пределами, но Ибсен хотел этим доказать, что причина его горечи против высокопоставленных людей в Норвегит кроется не в разнице его и их происхождения.

Ницше также охотно доказывал окружающим, что он происходит от польского дворянского рода, хотя у него не было никакой родословной, так что это можно было принять за аристократические бредни, тем больше, что указанное им имя Ниэцки уже по своей орфографии показывает свое не польское происхождение. В самом же деле было так: правильная орфография его фамилии – Ницки, и одному молодому польскому почитателю Ницше, Бернарду Шарлит удалось доказать неоспоримое происхождение Ницше из рода Ницки. Он

открыл дворянский герб этого рода в печатке, которая в течение столетий была в семье Ницше наследственной вещью. Но властолюбивой морали Ницше и в его аристократизации представлений о мире Шарлит видит, и не без основания, шляхетский дух, унаследованный им от своих польских предков. Ибсен и Ницше (независимо друг от друга) лелеяли мысль (так же, как и Ренан) воспитать благородных людей. Это любимая идея Росмерса, она становится таковою у д-ра Штокмана. Также и Ницше о высшем человеке говорить, как о предварительной задаче поколения, пока Заратустра не возвещает сверхчеловека. И у того, и у другого радикализм по существу аристократичен.

Затем они встречаются также то там, то сям на почве душевных исследований. Ницше любит жизнь и внутреннюю её сущность так высоко, что сама истина представляется ему стоимостью лишь тогда, когда она помогает сохранению жизни и её эволюции. Ложь только *в* том случае вредною и разрушительною силой, когда она тормозит жизнь. Ложь не смущает его так, где она необходима для жизни. (Удивительно, что мыслитель, который так ненавидит иезуитизм, пришел к точке зрения, которая ведет к нему). В этом пункте Ницше сходится со многими из своих противников. Ибсен, который во всех своих стремлениях выступает поклонником правды, по мере своего развития приходит к такому же взгляду, как и Ницше. Звучит не шуткой, когда Ибсен в «Дикой утке» устами д-ра Реллинга заявляет о необходимости лжи для жизни. Конечно, тут имелся в виду только средний человек, не могущий обойтись без лжи. Но впоследствии Ибсен пошел гораздо дальше и признал ложь необходимою также и для высших людей.

Уже в «Привидениях» он находит непозволительным говорить одну правду. Фру Альвин видит, но не хочет рассказать Освальду про его отца. Она содрогается при мысли, что может отобрать у него его идеалы. Идеалы противопоставляются здесь правде. И только в конце пьесы она осмеливается сказать ее ему мягко обиняками, частью выдумывая. И когда ибсеновские Сольнес, Боркхань, Рубек, в существе которых кроется так много его собственного, защищают то или другое неизвестное, сомнительное, они закрывают глаза на возможность лжи и говорят: мы хотим, чтобы то было правда. Сольнес утверждает, что его желания имеют деятельную, почти магическую силу, Гильда уверяет Рагнара, что Сольнеса совсем не влечет к Кайе. (На основании этого Рагнар спрашивает: сказал-ли он это вам)? «Нет, но это так, это должно быть так; (дико) я хочу, хочу, чтобы это было так»!

Фру Боркман живет в самообмане; она убеждена, что её сын

Эргарт сделается человеком, который выполнит великую миссий и восстановит часть их дома, на что сестра ей отвечает: это одни твои мечты, без которых, тебе кажется, ты пришла бы в полное отчаяние.

Живет в самообмане также и сам Боркман; он верит, что к нему придет депутаций просить его стать во главе банка. «Ты, может быть, думаешь, что они не придут? Но они должны, должны ко мне притти когда-нибудь. Я верю в это твердо, я знаю это непоколебимо. Не будь у меня такой уверенности, я давно пустил бы себе пулю в лоб».

В «Эпилоге» Рубек так определяет значение своей работы: «когда я создавал это художественное произведение – так как „День воскресения“ есть художественное произведение; или, по крайней мере, таким оно было вначале (он чувствует, что его испортил). Нет, таково оно и теперь. Оно будет, будет, будет художественным произведением».

У Ибсена, как и у Ницше, лежит бессознательное стремление к сознательной духовной жизни. Стремление мужчины к величию у них обоих есть нечто инстинктивное. Однако у Ибсена преимущественно женщина призвана поддержать это стремление, принадлежащее ей по праву власти, свободная от унизительных соглашений, что Ибсен в «Бранде» назвал безобразным иностранным словом «аккорд душ». Бранд – один из его героев, глубоко повлиявший на женщину (которая открыла в нем существо, более чистое и нетронутое, чем обычно встречающиеся), которая затем ставить его на свойственную ему высоту, как Гильда Сольнеса и Ирэна Рубека. Против общественных нравов и общественной лжи Ибсен не знает лучшего орудий, лучшей деятельной силы, чем женщина; в его драмах она будить и укрепляет энергию. Это пункт, в котором он резко расходится с Ницше, с его ненавистью к женщине. У Ницше женщина тянет мужчину вниз; она сила природы, с которою нужно бороться.

Ибсен, как и Ницше, был одинок и действовал в одиночестве, и оба они одинаково мало заботились о судьбе своих произведений. Тот сильнее всех, говорит д-р Штокмам, кто наиболее одинок.

Прозор спрашивает: Кто же более одинок – Ибсен или Ницше? – Ибсен, который держал себя в стороне от всяких личных сношений с людьми, но работал для театральной публики; или Ницше, который, хотя и изолировал себя, как мыслитель, – как человек постоянно), хотя и безрезультатно, выискивал себе единомышленников и герольдов, но произведения которого при его жизни остались нечитанными широкой

публикой и во всяком случае непонятыми.

Для меня лично решение этого вопроса дело не легкое, так как по прихоти судьбы и тот, и другой считали меня своим союзником.

Еще труднее решить, чьи работы глубже, оставляют большее впечатление и кто из них сохранит дальше свою славу.

На севере Ибсен обогатил всех нас, сильно повлиял на драматургов, но школы не создал.

В восьмидесятых годах в Германии, где в ту пору началось течение против старого шиллеровского идеализма, Ибсена приветствовали, как великого натуралиста, равного Золя и Толстому, проглядев ибсеновский идеализм. На умы обмундированного немецкого читающего мира Ибсен со своею верою в меньшинство и одиночество действовал то как индивидуалист, то как социалист, благодаря его скрытому революционному течению.

Его влияние на немецких драматургов, начиная от Рихарда Босса и до Германа Бара, очень легко проследить. Но наибольшее с ним сходство мы видим у величайшего из них Гергарта Гауптмана. Его «Перед восходом» написано также под влиянием «Привидений», как и «Власть тьмы», «Потонувший колокол» напоминает одновременно и «Бранда», и «Сольнеса».

В Англии Эдмундь Госсе, Вильям Арчер и Бернард Шау страстно работали для распространения славы Ибсена, а последний, как драматический писатель, у него учился. Но замечательнее всего, что в Англии нападали на Ибсена не только за то, что он непонятен, но и за материалистическое его направление, и восхваляли его особенно, как психолога.

Во Франции, когда там был в моде символизм, Генрика Ибсена приветствовали, как великого символиста. Под его влиянием находились лучшие драматурги, как Франсуа де Кюрель. Мистический элемент у Ибсена, как напр., белые кони в «Росмерехольме», чужестранцы в «Женщине с моря», им особенно нравился. Но нередко его принимали также и за анархиста. «Врагу народа» аплодировали, как протесту против общества и государства. В Ульрике Бренделе видели сатиру на общество.

Ничто не говорит лучше о величине Ибсена, как следующее обстоятельство. В Норвегии он раньше был понять, как консерватор, позднее, как радикал. В Германии его приветствовали. как натуралиста и социалиста, во Фраиции, как символиста и анархиста.

Одним словом, в каждой стране долго видели лишь некоторые стороны его существа, отсюда ясно, как был он многосторонен.

* * *

Следующие письма[6] были писаны Ибсеном в Вену, девице Эмилии Бардах. Ибсен встретился с ней и её матерью осенью 1889 г. в Госсензасе, в Тироле. Они там провели вместе несколько недель. Г-же Бардах было тогда 20 лет; затем она уже никогда больше не встречала поэта.

I

В альбом.

Высокое, болезненное счастье – бороться за недостижимое.

Госсензас, 20-го сентября 1889 г.

Генрик Ибсен.

II

(На обороте фотографии).
Майскому солнцу в сентябрьской жизни в Тироле.

27. 9. 89. Генрик Ибсен.

III

Мюнхен, Максимильшстрассе, 32, 7.
Октябрь, 1889 г.

От всего моего сердца благодарю Вас, неоцененная г-жа Бардах, за Ваше крайне любимое и милое письмо, которое я получил в предпоследний день моего пребывания в Госсензасе и которое я много раз перечитывал. Место нашего летнего пребывания выглядело в последнюю неделю печально или во всяком случае так оно мне представлялось. Не было больше солнца. Оно совсем исчезло. Некоторые оставшиеся гости никоим образом не могли, конечно, представить для меня замену прелестной, короткой летней жизни. Я ежедневно ходил гулять в Перлергталь. Там, у дороги

есть скамья, на которой, разумеется в обществе, можно бы вести полный настроения разговор. Но скамья была пуста и я, не присев шел мимо неё.

В большом зале. мне казалось, было также пусто и безотрадно. Гости, семья Перейра и профессор с женой показывались только перед едой.

Цветы и деревья, которые пахли так опьяняюще, все еще там стояли. Но впрочем – как пусто, – как одиноко, – как сиротливо!

Но теперь мы опять дома, Вы также в Вене. Вы пишете, что теперь Вы чувствуете себя увереннее, свободнее, счастливее. Как я обрадовался этим словам! Больше я ничего не скажу.

Во мне начинает брезжиться новое произведение. Я хочу создать его в эту зиму и попробовать пронести через него светлое, летнее настроение. Но окончится оно в унынии. Это я чувствую. – И это моя манера. – Я однажды сказал Вам, что я пишу письма в стиле телеграмм. Примите же это письмо, как таковое. Во всяком случае Вы его поймете.

Шлет Вам тысячу приветствий преданный

Вам Д-р Г. И.

IV

Мюнхен, 15-го октября, 1889 г.

Ваше милое письмо я получил и тысячу раз вас за него благодарю; я его читал и перечитывал. Я, как всегда, сижу у письменного стола. Я бы очень хотел работать, но не могу. Моя фантазия живо работает и упархивает в другое место, туда, где она не должна быть в рабочее время. Я не могу прогнать, да и не хочу также мои летние воспоминания. Я переживаю снова и снова пережитое, постоянно снова. Но претворить все это в поэтическое произведение пока для меня невозможно.

Пока?

Удастся ли это мне когда-либо в будущем? И желаю ли я, собственно, чтобы это когда-либо мне удалось? И могло ли бы удасться мне?

Пока, во всяком случае нет, в этом я уверен.

Я это чувствую – я это знаю.

Но когда-нибудь так будет. Это положительно так

будет. Но все же будет ли такое? Будет ли такое?

Ах, дорогая Фрекен[7], простите. – Вы так очаровательно пишите в своем последнем – нет, нет, Боже упаси – в своем предыдущем письме: так очаровательно: «но для вас я не Фрекен». Итак, дорогое дитя – потому что это вы для меня во всяком случае – скажите-ка, помните вы, что мы раз говорили о глупости и сумасшествии. Или, правильнее сказать, я говорил об этом целую кучу. Тогда вы, дорогое дитя, взяли на себя роль учителя и запели тихо, мелодически, с вашей дальнозоркостью, что всегда между глупостью и сумасшествием была разница. Ну, конечно, об этом я раньше имел представление. Но этот эпизод, как и все прочее, остался у меня в памяти. Так как я снова и снова раздумываю: было ли то глупостью, или сумасшествием, что мы сошлись? Или это было настолько же глупостью, как и сумасшествием. Или же это не было ни тем, ни другим?

Я надеюсь, что последнее и есть единственно верное.

Это просто на просто была естественная необходимость. И одновременно то был фатум. Думаете ли вы, что это было необходимо?

В настоящее время я этого не думаю. Я полагаю, что вы меня как следует поймете и отдалите мне справедливость.

Тысячу раз спокойной ночи. Всегда вам преданный

Г. И.

V

Мюнхен, 29-го октября, 1889 г.

Каждый день я собирался написать вам несколько слов. Я хотел также приложить мой новый портрет, но он еще не готов. Итак я это письмо уйдет без портрета. Вы знаете по собственному опыту, что при известных обстоятельствам сниматься представляет большое затруднение. Как, однако, мило вы пишете. Прошу вас писать мне несколько строк, каждый раз, как у вас найдется свободные, ненужные вам самой полчаса.

Вы оставляете мои письма нераспечатанными, до тех пор пока вы не останетесь одна, чтобы вам никто не мешал! Дорогое дитя, я не хочу вам сказать за это –

спасибо. Это лишнее – вы понимаете.

Не огорчайтесь, что я пока не могу творить. В сущности я творю вечно и беспрестанно, или во всяком случае я о чем-нибудь грежу, а когда оно созревает, оно выходит из куколки, как поэтическое произведение.

Мне мешают. Не могу больше писать. В следующий раз более длинное письмо.

Ваш верный, преданный

Г. И.

VI

Мюнхен, 19-го ноября, 1889 г.

Наконец-то я могу послать вам мой новый портрет. Я надеюсь, что он лучше, и в нем больше сходства, чем в прежнем.

Через несколько дней появится в свет моя биография на немецком языке и вы сейчас же ее получите. Прочтите ее при случае. Из неё вы узнаете мою жизнь до сих пор, т.-е. я хочу сказать до конца прошлого года.

Сердечно благодарю вас за ваше милое письмо. Но что вы обо мне думали, что я до сиг пор вам на него не ответил?

Но вы все же знаете, что вы в моих мыслях и там останетесь. Оживленная корреспонденция с моей стороны полная невозможность – я сказал вам это уже раньше. Берите меня таким, каков я есть.

Что касается моих поэтических приключений, и о том, какой «успех» я сделал в последнее время, я собственно мог бы много рассказать. Но я должен это пока отложить. Я усиленно занят предварительною работой для нового произведения. Сижу почти целый день за письменным столом и выхожу чуточку только по вечерам. Грежу, вспоминаю и творю дальше. Творить хорошо; но действительность может иногда быть гораздо лучше.

Ваш глубоко преданный

Г. И.

VII

Два дорогих, дорогих письма получил я от вас и до сих пор ни одного ответа. Что вы обо мне думаете?

Но я никак не могу найти нужного спокойствия, чтобы написать вам нечто порядочное и обстоятельное.

Сегодня вечером я иду в театр смотреть «Враг народа». Думать об этом уже мука для женя.

Итак, пока я должен отказаться от вашего портрета. Но так лучше. Лучше подождать, чем получить портрет, который же удовлетворяет. А, кроме того, ваш любимый мною, светлый образ стоит в моем воспоминании так живо. Я думаю до сих пор, что за ним, скрывается полная загадочности принцесса. Ну, а сама загадка? Из неё можно много черпать красивого и грезить. И это я делаю. Это, во всяком случае, отчасти заменяет недостижимую и беспочвенную действительность. В моей фантазии я вижу вас в украшениях из жемчуга. Ведь, вы так любите жемчуг. В этом есть что-то более глубокое, в этом пристрастии что-то кроется. Но что именно? Об этом я раздумываю часто и порой мне кажется, что я нашел связь, но затем я ее теряю. В следующий раз я, может быть, попробую ответить вам на некоторые ваши вопросы. У меня у самого так много их для вас. Я это делаю внутренне и беспрестанно.

Преданный вам

Г.И.

VIII

Мюнхен, 22-го декабря 1889 г.

Как благодарить мне вас за ваше милое, очаровательное письмо? – я прямо не могу. Не так могу, как я бы этого хотел. Писание писем не для меня, мне кажется, я говорил уж вам об этот раньше. Но во всяком случае, вы и сами должны были это заметить.

Но я все-таки читаю ваши письма и перечитываю и снова перечитываю и у меня встает летнее настроение так удивительно свежо и живо. Я вижу, я вновь чувствую пережитое. Я узнал вас, мою дорогую принцессу, как милое летнее создание, только как существо присущее времени года, когда порхают бабочки, и растут на воле цветы.

Как хотел бы я видеть вас также в зимней

обстановке. В моей фантазии я это делаю. Я вижу вас на Рингстрассе, легкую, идущую быстро и грациозно, укутанную в бархат и мех.

Я вижу вас также на вечерах и в обществе, особенно в театре, откинувшуюся на спинку кресла со слегка утомленными чертами и с глазами, полными загадочности.

Я хотел бы также видеть вас у вас дома. Но мне это не удастся, так как у меня нет для этого никакой придирки. Вы очень мало мне рассказывали про свою домашнюю жизнь, почти ничего осязаемого. По правде сказать, дорогая принцесса, во многих существенных отношениях мы порядочно-таки чужды друг другу. В одном из ваших прежних писем вы слегка намекнули на это, говоря о моих произведениях, которые недоступны вам в оригинале.

Но не будем про это больше думать.

Ваши музыкальные занятия подвигаются, конечно, постоянно и непрерывно вперед? Это меня в особенности интересует. Но больше всего я хотел бы видеть вас в рождественский вечер в нашем доме, где я предполагаю, вы будете проводить время. Как у вас все это происходит? – я не представляю себе ясно. Я только сочиняю всевозможные способы.

Но у меня мрачное чувство, что рождественский вечер и вы не совсем подходите друг к другу.

Но кто это знает? А может быть. Но при всяких обстоятельствах примите мои сердечные пожелания – сопровождаемые тысячью приветствий.

Всегда вам преданный

Г. И.

IX

Мюнхен, 30-го декабря 1889 г.

Ваш красивый, очаровательный портрет, который так много говорит, доставил мне неописуемую радость.

Я благодарю вас за него тысячу раз и от чистого сердца. И насколько вы теперь, среди зимы, сделали ощутительными короткие солнечные летние дни. Сердечно благодарю вас также за ваше милое, милое письмо. От меня вы сегодня получите всего несколько

слов. Мне не хватает необходимых покоя и одиночества, чтобы писать вам так, как бы я того хотел. Моя жена с радостью получила вашу любезную поздравительную карточку. Надеюсь, она сама позднее поблагодарит вас за нее. Теперь она не совсем хорошо себя чувствует.

С некоторых пор мой сын у нас в гостях. Возвратится ли он снова в Вену, или мы пошлем его в другое место, пока не определено.

Примите мои сердечные пожелания к новому году. Также кланяюсь вашей матушке. Еще раз благодарю вас за ваш восхитительный подарок.

Всегда вам преданный

Г. И.

X

Мюнхен, 16-го января 1900 г.

Прежде всего примите мою сердечную благодарность за ваши оба милых письма, на которые я до сих пор не ответил.

С самого Нового года я быль болен и не брал пера в руки. Вероятно, это было нечто вроде отвратительной инфлуэицы. Теперь мне значительно лучше.

Как больно мне было узнать что вы действительно были больны. Представьте, я имел ясное об этом предчувствие. В моей фантазии я видел вас, лежащую в кровати, бледную, в лихорадке, но обворожительно красивую и милую, как всегда.

Тысячу раз благодарю за хорошенькие цветы, которые вы для меня нарисовали. Это было очень любезно с вашей стороны. Я нахожу, что у вас выдающиеся способности к рисованию цветов. Этот талант вы должны были бы развивать: может быть. вы и делаете это. Но ваш милый голос вы должны беречь, – по крайней мере, теперь!

Как я вам благодарен, что я владею вашим портретом. Больше я ничего не скажу.

Способности писать письма у меня никогда не будет. Я живу в надежде, что вы совсем поправились и шлю вашей уважаемой матушке много приветствий.

Всегда ваш, сердечно преданный

Г. И.

XI

Мюнхен, 6-го февраля 1890 г.

Долго, очень долго я оставил лежать Ваше последнее, юное письмо. Я читал его и перечитывал, не отвечая однако.

Примите сегодня в коротких словах мою самую сердечную благодарность.

С этих пор и до того времени, пока мы снова не увидимся лично, Вы письменно услышите от меня очень мало, может быть, изредка кое что.

Верьте мне – так лучше. Это единственно правильное. Я чувствую, что дело моей совести или приостановить, или ограничить нашу переписку[8].

Вы должны пока заниматься мною возможно меньше. Вы должны преследовать другие цели в Вашей молодой жизни и отдаваться другим настроениям.

А я, я много раз говорил уже это Вам, не могу чувствовать себя удовлетворенным только перепиской. Для меня в ней есть всегда кое-что половинчатое, кое что ложное.

Я вижу, я мучительно чувствую, что не могу отдаваться сполна и целиком моему настроению. – Это лежит в моей натуре и не поддается перемене.

Вы такая тонко чувствующая, так инстинктивно проницательная. Поймите это так, как я это думаю. А когда мы снова встретимся, я объясню Вам все подробно. А до тех пор всегда Вы останетесь у меня в мыслях. И тем больше, что эта обременительная половинчатость и обмен письмами не будут мешать.

Тысячу приветствий

Ваш Г. И.

XII

Мюнхен, 18-го сентября 1890 г.

Фрёкен Эмилия!

С глубоким участием я прочел Ваше грустное сообщение. Будьте уверены, что я в особенности в это тяжелое для Вас и Вашей матушки время был с Вани всеми моими лучшими мыслями и теплыми чувствами. Скорбь о потери Вашего отца выражена в вашем милом

письме так захватывающе и трогательно, что я ш>чувствовал себя глубоко взволнованным.

И так внезапно, так неожиданно, так неподготовленно Вас застиг этот удар судьбы. Я с умыслом отложил мой ответ на сегодня – утешать в таких случаях невозможно. Только время сможет залечить рану, нанесенную Вашей душе. И будем надеяться, это придет, хотя и мало помалу. Я всем сердцем понимаю Вас, когда Вы глубоко жалуетесь, что не были около Вашего отца в последнее время. Но я думаю, что, может быть, это лучше.

Надеюсь, что это письмо застанет еще Вас в Альтъаусзе. Да будет для Вас пребывание там благодетельно.

Моя жена и сын в настоящее время в Риве и останутся там, вероятно, до середины октября, а, может быть, и дольше. И так, я живу здесь один и не могу отсюда уехать. Но объемистая драма которою я сейчас занят, будет, насколько я могу предвидеть, готова только в октябре, хотя я ежедневно и по целым дням сижу за письменным столом. Кланяйтесь, пожалуйста, Вашей уважаемой матушке, а сами примите с дружеским расположением тысячу сердечных приветствий от неизменно Вам преданного.

Генрика Ибсена.

XIII

Мюнхен, 30-го декабря 1890 г.

Ваше милое письмо я получил. А также и колокольчик с красивой картинкой. Я Вам благодарен от всего сердца. Моя жена находит, что картина хорошо нарисована. Но я прошу Вас: не пишите пока больше ко мне.

Когда обстоятельства изменятся, я Вам сообщу. Я Вам скоро пошлю мою новую драму. Примите ее дружески, но молча.

Как хотел бы я Вас снова увидеть, говорить с Вами. Счастливого нового года Вам и Вашей матушке желает неизменно Вам преданный

Генрик Ибсен.

Замечание. Фрёкень Бардах на это письмо не ответила. Только 7 лет спустя она ему телеграфировала, поздравляя с 70-ти летним днем рождения. В ответ она получила его фотографий и следующие строки.

XIV

Христиания, 13-го марта 1898 г.

Сердечно любимая Фрёкен!

Примите мою глубокую благодарность за Ваше письмо. Лето в Госсензасе было самым счастливым, самым лучшим во всей моей жизни.

Не смею о нем думать, но должен это постоянно – постоянно!

Верный и преданный Вам

Генрик Ибсен.

Книгоиздательство «Мир Божий».

Литературно-научный сборник. 1906

notes

Сноски

1

Георг Брандес, месяца за 3 до смерти Ибсена приглашенный обществом студентов в Христиании, прочел здесь этот доклад при огромном одобрении публики.

2

Сведруп, бывший тогда либеральный министр, вожак свободомыслящей партии, известный проведением многих либеральных реформ.

3

Эти письма приводятся мною ниже.

4

Дочь самого Брандеса.

5

Теперь национальный театр.

6

За полгода до смерти Ибсена г-жа Бардах прислала эти письма Георгу Брандесу с просьбой опубликовать их в европейской прессе. Основываясь на том, что Ибсен был тогда в таком состоянии, что не мог лично дать или не дать на это своего согласия – Брандес отказался это сделать и опубликовывает их теперь после его смерти. *Перев.*

7

Барышня.

8

Фрекен Бардах поступила по желанию Ибсена и написала ему только полгода спустя, по случаю смерти своего отца.